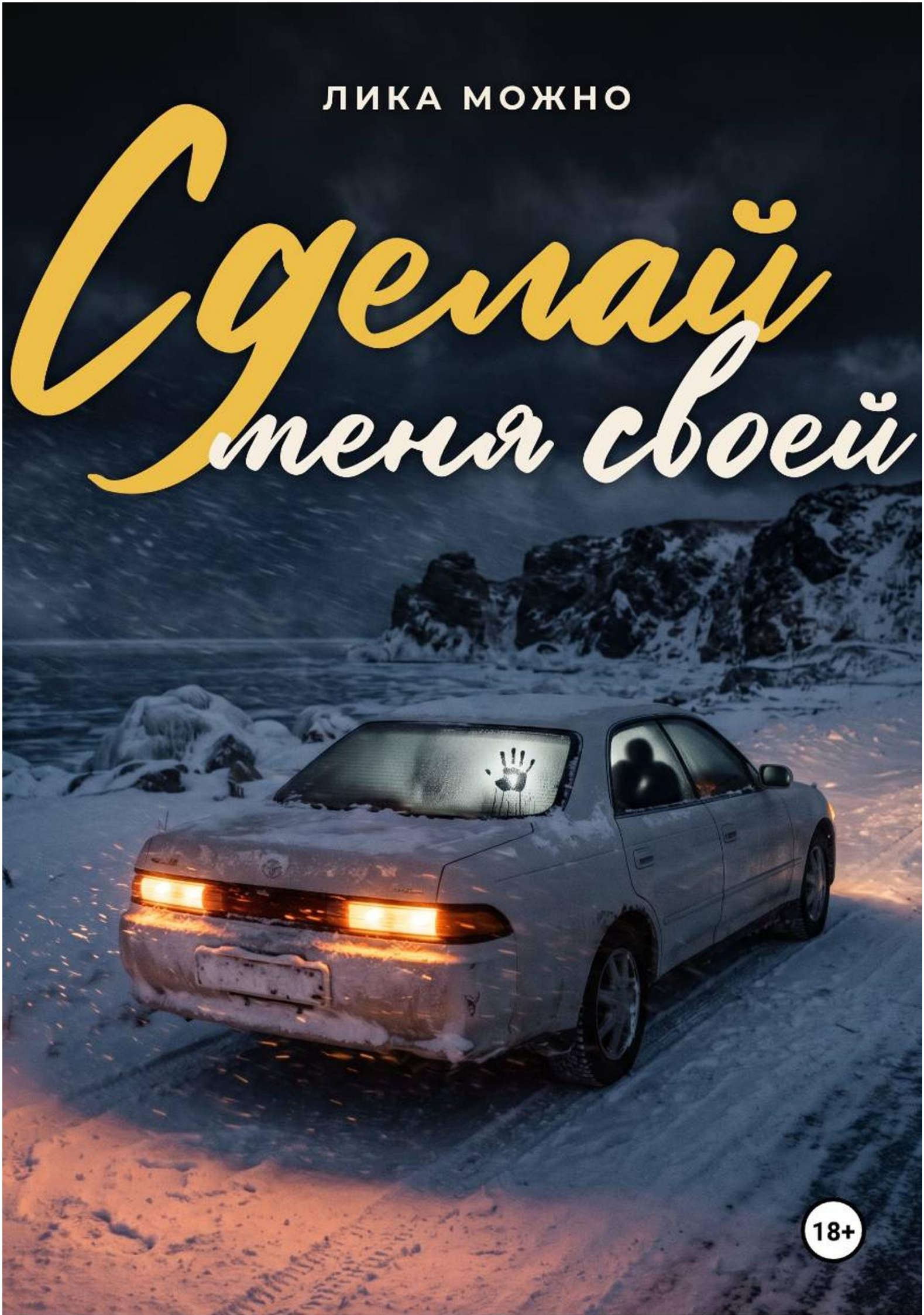
ЛИКА МОЖНО

Сделай меня своей



18+

Лика Можно

Сделай меня своей

«Автор»
2026

Можно Л.

Сделай меня своей / Л. Можно — «Автор», 2026

Мне тридцать один. У меня четыре клиники, сто двенадцать сотрудников и квартира на двадцать третьем этаже. Нет только одного: того, что нельзя внести в план на квартал.Ему двадцать три. Лейтенант полиции с Сахалина, живёт с мамой, краснеет и спрашивает «если можно».Между нами восемь тысяч километров и восемь часов разницы. Он учится быстро. Я учу его быть смелее, грубее, увереннее. Учу брать, не спрашивая.Я сделала его мужчиной своей мечты.И он стал им. Только теперь он врёт, недоговаривает, пропадает «на выездах» и смотрит на меня так же, как на допросе. А я не могу уйти.Чем закончится игра, если ты сама написала её правила?Откровенно. Жёстко. Без хэппи-энда в привычном смысле.18+

© Можно Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пропуск 5
Глава 2. Одна ночь 8
Глава 3. Восемь часов разницы 12
Глава 4. Директор 16
Глава 5. Он прилетает на юг 20
Глава 6. Грубее 25
Глава 7. Картинка 29
Глава 8. Край земли 33
Глава 9. Детская комната 37
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Лика Можно
Сделай меня своей

Глава 1. Пропуск

У меня есть всё, что можно купить, назначить или подписать. Четыре клиники, сто двенадцать сотрудников, квартира с окнами в пол на двадцать третьем этаже, машина, которую я выбирала дольше, чем последнего мужчину. Нет только одного. Того, что нельзя внести в план на квартал.

Мама говорит: «Верочка, ты слишком разборчивая». Подруги говорят: «Ты просто не туда смотришь». Психолог за шесть тысяч в час говорит, что я не умею отпускать контроль. Я плачу ей ещё шесть тысяч, чтобы она объяснила, как это делается, и она объясняет, а я записываю в заметки, как будто это ещё одна задача.

Мне тридцать один. У Сони двое детей и муж, который каждое утро варит ей кофе. У Лены свадьба в мае. У меня командировка во Владивосток, конференция по частной медицине и номер с видом на туман.

* * *

Туман здесь не похож на наш. В Краснодаре туман бывает раз в год и выглядит как недоразумение. Здесь он живёт. Он стоит над заливом с утра до ночи, плотный и мокрый, и мост, про который мне все уши прожужжали, просто исчезает в нём на середине. Будто кто-то начал строить дорогу и передумал.

Второй день конференции я проспала первую сессию, и мне не было стыдно. Я спустилась в лобби в половине одиннадцатого, с мокрыми волосами, в свитере вместо пиджака, с бейджем на шнурке, который всё время перекручивался и показывал всем пустую сторону. Кофемашина в лобби не работала. Девушка на ресепшене развела руками так виновато, будто сломала её лично.

Я развернулась к лифту, и шнурок соскользнул с шеи. Я не заметила. Я вообще мало что замечала в то утро, кроме того, что хочу кофе и тишины и не хочу ни одного разговора о маркетинге стоматологических услуг.

— Девушка. Простите. Вы уронили.

Он стоял у меня за спиной и держал бейдж двумя пальцами, как держат что-то хрупкое. Высокий, широкий в плечах и при этом какой-то нескладный, будто тело выросло быстрее, чем он успел к нему привыкнуть. Короткая стрижка, светлые ресницы, на скуле маленький шрам. Тёмная куртка, под ней рубашка, застёгнутая на все пуговицы.

Он посмотрел на бейдж, потом на меня, и покраснел. Не слегка, а густо, до ушей, как краснеют школьники у доски.

— Вера Андреевна, — прочитал он. — Генеральный директор.

— Можно просто Вера, — сказала я. — Я ещё не настолько старая.

— Я не это имел в виду.

— Я знаю.

Он протянул мне бейдж, и наши пальцы не соприкоснулись. Он очень постарался, чтобы не соприкоснулись. Я заметила это, и мне почему-то стало смешно и тепло одновременно.

— Глеб, — сказал он и зачем-то кивнул, будто представлялся начальству.

— Вы тоже на конференцию, Глеб?

— Нет. Я на обучении. Курсы, — он неопределённо махнул рукой куда-то в туман. — Там, через дорогу. Нас тут поселили, потому что в общежитии ремонт.

— Какие курсы?

— Повышение квалификации. Я в полиции работаю. На Сахалине.

Он сказал «на Сахалине» так, как говорят «на краю земли». С гордостью и извинением одновременно.

— Кофемашина сломана, — сказала я. — Вы не знаете, где здесь нормальный кофе?

Он знал. Он, как выяснилось, знал во Владивостоке всё, хотя был здесь вторую неделю. Он вообще был из тех, кто в любом новом месте в первый же день находит аптеку, банкомат и кофейню, на всякий случай. Я поняла это позже. Тогда я просто пошла за ним, потому что было лень искать самой.

* * *

Кофейня была маленькая, на четыре столика, с запотевшими окнами. Он взял мне капучино, себе чёрный чай с сахаром, три ложки, и не дал мне заплатить. Я не стала спорить. Мне давно никто не покупал кофе. Обычно я покупаю кофе другим.

Он говорил мало и смотрел в чашку. Ему двадцать три. Он живёт в Южно-Сахалинске, с мамой, «пока», и это «пока» он произнёс так быстро, будто боялся, что я переспрошу. Работает два года. Любит рыбалку, машину и океан зимой. Летом тоже любит, но зимой больше, потому что зимой там никого нет.

— Совсем никого?

— Только ты и океан, — сказал он. И опять покраснел, потому что это прозвучало красиво, а он, кажется, не собирался говорить красиво.

У него зазвонил телефон. На экране было написано «Мама». Он посмотрел на меня, на телефон, снова на меня и всё-таки ответил.

— Мам, я перезвоню. Да. Да, поел. Мам. Я перезвоню.

Он положил телефон экраном вниз и потёр шею.

— Извините.

— Она всегда так звонит?

— В десять утра по-нашему. Это в восемь вечера у неё… нет. Неважно. Она привыкла.

Я смотрела на его руки. Большие, с короткими ногтями, с ссадиной на костяшке. Руки взрослого мужчины, который может, наверное, скрутить человека и уложить его лицом в асфальт. И этими руками он аккуратно размешивал сахар в чае, стараясь не звенеть ложкой, чтобы не мешать мне.

Что-то внутри меня шевельнулось. Не желание даже, а любопытство. Как когда видишь хорошее помещение под клинику: голые стены, плохой свет, но планировка отличная, и ты сразу видишь, где будет ресепшн, где кабинеты, где зелёная стена с логотипом.

Я тогда подумала: из него можно сделать что угодно.

И сразу прогнала эту мысль, потому что она была некрасивая.

* * *

Он проводил меня до отеля. Мы шли медленно, и туман лип к лицу, к волосам, к ресницам. У входа он остановился на расстоянии вытянутой руки. Не ближе.

— Вы завтра улетаете?

— Послезавтра.

— А вечером вы… Ну. Заняты?

— Это вы меня приглашаете, Глеб?

— Если можно.

Если можно. Мне тридцать один год, и последний раз меня спрашивали «если можно» в девятом классе.

— Вы всегда такой правильный?

Он подумал. Честно подумал, нахмурившись, как над задачей.

— А надо по-другому?

Я посмотрела на него. На рубашку, застёгнутую на все пуговицы. На шрам на скуле. На то, как он держит руки в карманах, чтобы случайно меня не коснуться.

— Надо, — сказала я. — В восемь. Здесь.

И ушла, не оборачиваясь. В лифте я посмотрела на себя в зеркало. Мокрые волосы, свитер, никакой косметики. И улыбка, которую я не видела у себя очень давно. Глупая, как у девочки, которой впервые позвонили на домашний.

На двадцатом этаже лифт остановился, двери открылись в пустой коридор и закрылись снова. Я стояла и думала: что ты делаешь, Вера.

И впервые за много лет не стала составлять план.

Глава 2. Одна ночь

Он пришёл без десяти восемь. Я видела его из окна: стоял у входа в тумане, переминался с ноги на ногу и дважды поправил воротник. Я спустилась в восемь ноль пять. Не потому, что хотела опоздать. Просто мне нравилось смотреть, как он ждёт.

На нём была та же куртка, но рубашка другая. Голубая. Тоже на все пуговицы.

— Куда пойдём? — спросила я.

— Я подумал… Если вы не против. На набережную. Там мост видно, когда туман уходит.

— А если не уйдёт?

— Тогда просто погуляем.

Туман не ушёл. Мы шли вдоль воды, и мост висел над нами светящейся полосой, обрывающейся в никуда. Под ногами шуршал мокрый песок, где-то кричали чайки, невидимые, как будто туман кричал сам. Я замёрзла через десять минут. Он заметил раньше, чем я сказала, снял куртку и накинул мне на плечи. Куртка пахла холодом, табаком, которого он, по его словам, не курил, и чем-то тёплым, мальчишеским, как пахнет свитер, если уткнуться в него лицом.

— А ты? — спросила я. Я не заметила, как перешла на «ты».

— Я сахалинский. Мне нормально.

Он шёл рядом в одной рубашке, и у него покраснели уши и кончик носа. Он врал, что ему нормально. Это была первая его ложь, которую я заметила, и она была трогательной.

* * *

Мы говорили про его маму. Про то, что отец ушёл, когда Глебу было семь, и с тех пор они вдвоём. Про то, что мама работает в бухгалтерии в администрации, печёт пироги по воскресеньям и до сих пор гладит ему рубашки. Он сказал это и осёкся, посмотрел на свою голубую рубашку, на заломы на рукавах.

— Сегодня я сам гладил.

— Видно, — сказала я.

Он засмеялся. Впервые за два дня. Громко, неожиданно, запрокинув голову, и я увидела, что у него ровные белые зубы и ямочка на одной щеке, только на одной, на левой. И подумала, что с этой ямочкой он будет выглядеть мальчишкой и в сорок лет.

А потом подумала: а с чего я решила, что увижу его в сорок лет.

* * *

У отеля он опять остановился на расстоянии вытянутой руки. Я сняла куртку и протянула ему. Он взял. Мы стояли так, и он смотрел на мои губы, а потом в сторону, а потом снова на губы. Я видела, как он сглатывает. Видела, как в нём борется что-то правильное, мамино, с чем-то, что пока не имело имени.

Он бы не решился. Я это знала. Он постоял бы ещё минуту, сказал бы «спокойной ночи, Вера», пожал бы мне руку, может быть. И ушёл бы в свой номер этажом ниже, и лежал бы там, глядя в потолок, и думал бы обо мне. А я бы улетела послезавтра, и он остался бы приятным

воспоминанием. Историей для Сони. «Представляешь, мальчик-полицейский, двадцать три года, краснел».

— Глеб, — сказала я. — Поднимешься?

Он перестал дышать. Я видела, как он перестал дышать.

— Если можно.

— Можно.

* * *

В лифте он стоял у стены, вцепившись в куртку. Я стояла напротив и смотрела на него в упор. Он не выдержал, опустил глаза. На двадцатом этаже я вышла первой, не оглядываясь, и слышала его шаги за спиной. Тяжёлые, неуверенные.

В номере было темно. Я не стала включать свет. Только торшер у окна, жёлтое пятно и туман за стеклом, как молоко.

Он стоял у двери. Я подошла сама. Положила ладони ему на грудь, на эту голубую рубашку, и почувствовала, как колотится сердце. Быстро, сильно, как у бегуна.

— Ты боишься?

— Нет.

Вторая ложь.

Я расстегнула первую пуговицу. Потом вторую. Он не двигался. Руки висели вдоль тела, сжатые в кулаки, будто ему приказали стоять смирно. Я расстегнула все пуговицы до конца, медленно, глядя ему в глаза, и стянула рубашку с плеч. Под ней он был такой, каким я его себе представляла и лучше: широкая грудь, светлая дорожка волос вниз от пупка, мышцы, которые бывают не от зала, а от жизни. На рёбрах слева был старый синяк, жёлто-зелёный.

— Это откуда?

— С работы.

Я провела по синяку пальцами, и он вздрогнул всем телом.

— Обними меня, — сказала я.

Он обнял. Осторожно, как обнимают маму на вокзале. Я засмеялась ему в шею.

— Не так. Сильнее.

Он сжал меня, и у меня хрустнуло где-то в спине, и перехватило дыхание, и это было хорошо. Это было так хорошо, что колени стали мягкими.

— Вот так, — сказала я. — Теперь поцелуй.

* * *

Он целовался плохо. Неумело, слишком мокро, слишком осторожно, будто боялся сделать больно. Я взяла его лицо в ладони и показала. Медленнее. Глубже. Вот так. Он учился быстро. Через минуту он уже сам держал меня за затылок, и я чувствовала его пальцы в волосах, и его дыхание стало тяжёлым, рваным, и он прижал меня к стене, и я почувствовала, какой он твёрдый, и у меня внутри всё сжалось и потекло.

Я сняла свитер сама. Он смотрел на меня, на кружевной бюстгальтер, который я надела, сама себе не признаваясь зачем, и у него было такое лицо, будто он увидел океан зимой.

— Расстегни, — сказала я и повернулась спиной.

Он долго возился с застёжкой. Пальцы дрожали. Я чувствовала их на лопатках, горячие, неуклюжие. Когда застёжка наконец поддалась, он выдохнул так, будто разминировал бомбу, и я опять засмеялась, а потом перестала смеяться, потому что его ладони легли мне на грудь. Большие, шершавые, и соски сразу стали твёрдыми под ними, и я откинула голову ему на плечо.

— Сожми, — сказала я. — Не бойся. Сильнее.

Он сжал, и я застонала, и он замер.

— Больно?

— Нет. Не останавливайся.

Он не останавливался.

* * *

На кровати я была сверху. Я так решила. Я раздела его до конца, сама расстегнула ремень, сама стянула джинсы, и он лежал подо мной, огромный, светлый в жёлтом свете торшера, и смотрел снизу вверх так, как никто никогда на меня не смотрел. Как будто я была чем-то, что ему не положено. Чем-то, что он не заслужил.

Я взяла его в руку, и он закрыл глаза и сказал «Вера» так, будто молился.

— Смотри на меня, — сказала я.

Он открыл глаза.

Я опустилась на него медленно, очень медленно, и чувствовала каждый сантиметр, и он был большой, больше, чем я ожидала, и мне пришлось остановиться на полпути и подышать, упираясь ладонями ему в грудь. Он лежал не двигаясь. Только пальцы впились мне в бёдра так, что завтра будут синяки. Пусть будут.

— Можно? — прошептал он.

Я кивнула.

Он толкнулся вверх, один раз, неуверенно, и у меня потемнело в глазах.

— Ещё. Сильнее. Держи меня.

Он держал. Он делал всё, что я говорила, ровно так, как я говорила, ни больше ни меньше. Быстрее. Глубже. Руку сюда. Нет, вот сюда. Сожми. Не отпускай. Он был как машина, которую я вела по пустой ночной трассе, и я выжимала из неё всё, и она слушалась каждого движения руля. Я никогда не чувствовала такой власти. И я никогда не чувствовала себя такой желанной.

Я кончила первой, громко, не стесняясь стенок отеля, упав ему на грудь, и он держал меня, пока меня трясло. А потом перевернул. Сам. Впервые без команды. Навис надо мной, тяжёлый, мокрый от пота, со своим шрамом и ямочкой, и посмотрел вопросительно.

— Да, — сказала я.

И он взял меня так, как я его учила. Только уже сам.

* * *

Потом мы лежали в темноте. Торшер я выключила. Туман за окном стал серым, где-то внизу гудела машина. Он лежал на спине, а я на его плече, и он гладил меня по волосам. Медленно, осторожно, снова как маленький.

— Вера.

— М?

— Скажи, как тебе нравится. Я научусь.

Я ничего не ответила. Я лежала и слушала, как бьётся его сердце, теперь ровно, спокойно. Как у человека, который всё сделал правильно.

Он заснул через десять минут, как засыпают дети. Сразу, глубоко, раскинув руки. А я не спала. Я смотрела в потолок и думала о том, что он сказал. Я научусь. Двадцать три года, мама гладит рубашки, руки, которые умеют скручивать людей и дрожат на застёжке бюстгальтера.

Из него можно сделать что угодно.

На этот раз я не стала прогонять эту мысль. Я разрешила ей остаться. Я лежала рядом с ним и думала, кем бы я хотела, чтобы он стал. Мужем. Отцом. Мужчиной, который однажды прижмёт меня к стене без команды, потому что сам захочет.

В шесть утра у него зазвонил будильник. В шесть ноль две позвонила мама. Он ответил шёпотом, прикрывая трубку ладонью, чтобы меня не разбудить:

— Да, мам. Да, всё хорошо. Нет, не один.

Он сказал это. Сказал маме, что не один. Я лежала с закрытыми глазами и улыбалась в подушку, как дура.

Я ещё не знала, что это было начало. Я думала, что это одна ночь.

Глава 3. Восемь часов разницы

В самолёте я спала. Девять часов через всю страну, и я проспала их почти целиком, как не спала, наверное, с университета. Без снотворного, без подкаста про продуктивность в наушниках. Просто закрыла глаза где-то над Хабаровском и открыла над Ростовом. Соседка по креслу, женщина с вязанием, сказала мне, когда мы садились:

— Вы во сне улыбались.

Я сказала, что это от таблеток. Она кивнула понимающе. В тридцать один год проще соврать про таблетки, чем признаться незнакомой женщине, что ты улыбаешься во сне из-за мальчика.

В Краснодаре было плюс восемнадцать и солнце. После владивостокского тумана это казалось неприличным. Я включила телефон на трапе, и он завибрировал так долго, что женщина с вязанием обернулась. Сорок три письма, двенадцать пропущенных из клиник, голосовое от мамы на четыре минуты. И одно сообщение от Глеба.

«Ты долетела?»

Отправлено четыре часа назад. У него тогда был вечер. Он сидел где-то в Южно-Сахалинске, в своей детской комнате, наверное, и ждал, когда я приземлюсь, хотя знал, что я ещё в воздухе. Просто написал заранее. Чтобы, когда я включу телефон, оно уже было там.

Я стояла на трапе, ветер трепал волосы, сзади меня толкали пассажиры с чемоданами, а я стояла и смотрела на два слова.

«Долетела. Спасибо, что спросил».

Ответ пришёл через секунду. Как будто он держал телефон в руке. Как будто не спал.

«У меня два часа ночи. Я просто хотел знать».

* * *

Восемь часов. Я посчитала это в такси, пока ехала домой. Когда у меня полдень, у него восемь вечера. Когда я ложусь спать, он уже едет на работу. Когда он ложится, я только выхожу из офиса. Мы как будто жили в разных сутках, и между нами была пропасть в треть дня, через которую можно было перекинуть только слова.

Я думала, что это закончится через неделю. Так заканчиваются все командировочные романы: сначала много сообщений, потом меньше, потом «как дела?» раз в три дня, потом тишина и лайк под фотографией через полгода. Я знала этот сценарий. Я сама так заканчивала.

Но он писал «доброе утро» каждый день. Каждый. В полночь по моему времени, когда я уже лежала в кровати с ноутбуком, приходило: «Доброе утро, Вера». Иногда с фотографией. Его кухня, мамина клеёнка в клетку, кружка с отбитой ручкой. Окно, за которым серое небо и сопки в снегу. Его рука на руле. Дорога, мокрая и пустая.

Я начала ждать полночь. Я, которая всю жизнь ложилась в одиннадцать, потому что в семь планёрка, сидела до двенадцати, делая вид, что работаю. В 23:58 я брала телефон. В 00:01, если ничего не было, у меня холодели пальцы.

Он ни разу не опоздал больше чем на десять минут.

* * *

Голосовые начались на третий день. Он записал первое, когда ехал на работу, и извинился в начале, что за рулём и неудобно печатать. Я включила его в офисе, между совещаниями, приложив телефон к уху, и его голос оказался ниже, чем я помнила. Хрипловатый с утра. С этим сахалинским «чё», которое он старательно глотал при мне вживую.

Он рассказывал про ерунду. Про то, что у мамы сломалась стиральная машина. Про то, что на работе завал. Про то, что выпал снег и он чуть не улетел в кювет на повороте у кладбища. Я слушала его три минуты и не понимала ни слова, потому что слушала не слова, а голос. Как он дышит между фразами. Как смеётся в нос.

В конце он сказал, понизив голос, будто кто-то мог услышать:

— Я всё время про тебя думаю. Это нормально?

Я переслушала это одиннадцать раз. Потом пошла на совещание с финансовым директором и не услышала ни одной цифры.

* * *

Это случилось в четверг. У меня была полночь, у него восемь утра. Я лежала в темноте, в одной футболке, и телефон зазвонил. Не сообщение, а звонок. Видеозвонка он стеснялся, это я уже знала. Просто голос.

— Ты не спишь?

— Нет.

— Я у отдела. В машине. У меня планёрка через двадцать минут.

— И что ты делаешь в машине?

Он помолчал. Я слышала, как работает печка, как где-то хлопнула дверь, как он дышит.

— Не знаю. Хотел тебя услышать перед работой.

— Слышишь?

— Слышу.

Я лежала и слушала, как он молчит. И вдруг поняла, что не хочу говорить про стиральную машину. Не хочу про снег и кювет. Я хочу, чтобы он был здесь. В этой кровати, в этой темноте, тяжёлый и горячий. И раз его здесь нет, значит, надо по-другому.

— Глеб.

— М?

— Ты помнишь, что было во Владивостоке?

Он выдохнул. Длинно, рвано.

— Помню.

— Расскажи мне. Что ты помнишь.

— Вера, я у отдела. Тут люди ходят.

— Окна запотели?

— Запотели.

— Тогда никто не видит. Рассказывай.

И он начал. Сначала неловко, запинаясь, проглатывая слова. Про то, как я расстёгивала его рубашку. Про то, как у меня была гусиная кожа на плечах. Про бюстгальтер, с которым он так долго возился. Я слушала и закрывала глаза, и его голос делался ниже, тише, глуше, и я чувствовала, как у меня наливается тяжестью низ живота.

— А теперь слушай меня, — сказала я. — Ты сейчас сидишь в машине. Отодвинь сиденье.

Я услышала щелчок.

— Расстегни ремень.

— Вера…

— Расстегни.

Пауза. Металлический звук пряжки. Я улыбнулась в темноте.

— Ты твёрдый?

— Да, — сказал он еле слышно. — С самого начала.

— Возьми себя в руку. Медленно. Так, как это делала я.

Я слышала, как он дышит. Как дыхание сбивается, становится короче, как скрипит обивка сиденья. Я опустила свою руку под футболку, вниз, и я была мокрая, совсем мокрая, от одного его голоса, от этого сбитого дыхания в восьми тысячах километров от меня.

— Я тоже, — сказала я. — Я тоже трогаю себя. Ты слышишь?

— Слышу. Господи. Вера.

— Не торопись. Я скажу, когда можно.

Он слушался. Он слушался даже сейчас, даже там, в машине у здания полиции, где в любую секунду в стекло мог постучать кто-то из коллег. Я говорила медленнее, и он замедлялся. Я говорила «быстрее», и он шептал «да». Я рассказывала ему, что сделала бы, если бы сидела у него на коленях на переднем сиденье, как бы упиралась затылком в потолок, как бы он держал меня за бёдра, и он стонал в трубку, глухо, сквозь зубы, стараясь, чтобы не услышали снаружи.

— Можно? — выдохнул он. — Вера, можно?

И это «можно» сделало со мной что-то такое, отчего я выгнулась на кровати, и в глазах вспыхнуло, и я кончила, вцепившись свободной рукой в простыню, сказав ему «да» уже на самом пике, почти криком.

В трубке он застонал протяжно, коротко выругался, первый раз при мне, и затих.

Мы долго молчали. Я слышала, как работает его печка. Как он дышит, медленно приходя в себя.

— У меня планёрка через шесть минут, — сказал он наконец. И засмеялся. Растерянно, счастливо. — Я не знаю, как я туда пойду.

— Застегнись, — сказала я. — И иди.

— Ты мне приказываешь?

— Да.

Он помолчал.

— Мне нравится, — сказал он тихо. — Когда ты мне говоришь, что делать.

* * *

После звонка я долго лежала, глядя в потолок. За окном светился город, двадцать третий этаж, огни до горизонта. Полвторого ночи. У него половина десятого утра, он сидит на планёрке, с серьёзным лицом, в форме, и никто не знает, что двадцать минут назад он кончил в машине от моего голоса.

Это знание было слаще всего остального.

Мне нравится, когда ты мне говоришь, что делать.

Я повторяла это про себя, засыпая. И думала, что никогда в жизни ни один мужчина не говорил мне такого. Мужчины, с которыми я была, хотели сами решать. Спорили, обижались, уходили. А этот хотел, чтобы решала я.

Я заснула с телефоном в руке. Утром на экране было: «Доброе утро. Я всю планёрку думал о тебе. Меня спросили, почему я улыбаюсь».

«И что ты сказал?»

«Сказал, что у меня девушка».

Девушка. Я перечитала это слово, лёжа в кровати, и почувствовала, как внутри что-то встаёт на место, тихо, как шестерёнка в часовом механизме. Щёлк.

Девушка. Значит, уже не одна ночь.

Глава 4. Директор

В понедельник в клинику на Северной пришла проверка.

Я узнала об этом в семь сорок, ещё в машине, от главврача Ларисы Викторовны, которая говорила в трубку таким голосом, будто у неё на пороге стоял не инспектор, а расстрельная команда. Две женщины из Росздравнадзора, внеплановая, по жалобе. Жалоба от пациентки, которой полгода назад ставили имплант. Имплант прижился, пациентка довольна, я лично помню её отзыв, пять звёзд и сердечко. Но жалоба есть, а значит, есть и проверка.

— Кто-то написал от её имени, — сказала Лариса Викторовна. — Вера Андреевна, я вам клянусь.

— Я знаю, — сказала я. — Я знаю, кто.

Я действительно знала. Месяц назад «Дента Люкс» открыла клинику через дорогу от нашей. Огромная вывеска, акция «имплант за полцены», и их директор, Самойлов, гладкий, загорелый, с белыми зубами, которые он, кажется, вставлял себе сам, позвонил моему ведущему хирургу. Хирург пока не ушёл. Но пока.

Я развернула машину на светофоре, нарушив два правила, и поехала на Северную.

* * *

Проверка шла шесть часов. Я была там все шесть. Я улыбалась инспекторам, приносила им кофе, показывала журналы стерилизации, лицензии, договоры, карты пациентов. Я знала, где лежит каждая бумажка, потому что сама три года назад выстраивала эту систему, ночами, с юристом и литром кофе. Инспекторы ничего не нашли. Одна, постарше, к концу даже потеплела и спросила, где я делала виниры. Я сказала, что у себя, и дала ей визитку со скидкой.

Когда они ушли, я собрала персонал в ординаторской. Двенадцать человек. Медсёстры, администраторы, два врача. Все стояли, никто не сел, хотя стулья были.

— Кто из вас общался с людьми из «Денты»? — спросила я.

Тишина.

— Я спрошу ещё раз. И если потом я узнаю, а я узнаю, что кто-то из вас промолчал, этот человек будет работать в «Денте» уже завтра. Без рекомендаций.

Администратор Катя, двадцать два года, с длинными ногтями и испуганными глазами, подняла руку. Как в школе. Самойлов звал её на собеседование. Она не пошла. Но номер дала. Номер пациентки, той самой, с имплантом. Ей сказали, что это для опроса качества.

Я смотрела на неё долго. Она начала плакать. Я не остановила. Я просто смотрела, пока она не опустила голову.

— Вы понимаете, что вы сделали?

— Да.

— Нет. Не понимаете. Но поймёте. Вы уволены, Катя. Сегодня.

В машине у меня тряслись руки. Не от жалости. От злости, которая никуда не делась, которая сидела во мне, как сжатая пружина, и требовала выхода. Я сидела на парковке, вцепившись в руль, и думала, что хочу, чтобы кто-нибудь сейчас пришёл и снял с меня всё это. Всю эту ответственность, сто двенадцать человек, Самойлова, проверки. Чтобы кто-нибудь просто сказал: «Всё, Вера. Хватит. Иди сюда».

Телефон завибрировал. Половина седьмого вечера. У него половина третьего ночи.

«Ты как? Ты не писала весь день».

Он не спал. Он ждал.

* * *

В воскресенье я поехала к маме. Мама живёт в станице под Краснодаром, в доме, который построил отец, и который после его смерти стал слишком большим. Каждое воскресенье обед: борщ, котлеты, компот из своих абрикосов. Каждое воскресенье один и тот же разговор.

— Ну? — спросила мама, наливая мне борщ.

— Что «ну»?

— Ты знаешь что.

Моей маме, Наталье Сергеевне, шестьдесят два. Она тридцать лет проработала завучем в школе и до сих пор разговаривает так, будто я не сделала домашнее задание. У неё есть список. Не на бумаге, в голове. Список того, что должно быть у её дочери к тридцати одному году. Пункт «образование» вычеркнут. Пункт «работа» вычеркнут, даже с перевыполнением. Пункт «квартира» вычеркнут. Остались пункты «муж» и «внуки». И они горят красным.

— Лида Петренко в субботу внучку крестила, — сказала мама. — Второю уже.

— Я рада за Лиду Петренко.

— А дочке Лиды двадцать шесть.

— Мам.

— Я ничего не говорю, Вера. Я просто говорю, что тебе уже тридцать один. Хватит выбирать. Ты всех мужиков разогнала со своим характером. Этот тебе не такой, тот тебе не такой. Олег чем был плохой?

Олег был женат. Мама об этом не знала. Я не стала говорить.

Я доела борщ, отодвинула тарелку и достала телефон. Сама не знаю зачем. Может, чтобы она замолчала. Может, потому что мне хотелось, чтобы хоть кто-то, кроме Сони, знал.

— Вот, — сказала я и показала фотографию.

Глеб прислал её в среду. Сфотографировал себя в зеркале в отделе, в форме, серьёзный, с этим своим шрамом на скуле. Подписал: «Чтобы ты не забывала, как я выгляжу». Я не забывала. Я смотрела на эту фотографию каждый вечер.

Мама надела очки. Посмотрела. Посмотрела ещё раз. Увеличила пальцами, как она умеет, неловко, с третьей попытки.

— Это кто?

— Глеб.

— Военный?

— Полицейский. На Сахалине.

— На Сахалине, — повторила мама так, будто я сказала «на Луне». Потом сняла очки и посмотрела на меня. Долго. Как смотрела, когда я в девятом классе принесла пятёрку по химии, которую никто не ждал. — Красивый. Серьёзный. В форме, — она помолчала. — Сколько ему?

— Двадцать три.

Я ждала, что она скажет. «С ума сошла», «мальчишка», «он тебе в сыновья». Я приготовилась защищаться. Но мама снова надела очки, ещё раз посмотрела на фото и сказала:

— Ну и что. Зато молодой, здоровый. Детей родит. Держись за него, Вера. Не разгони.

* * *

Соня приехала ко мне в тот же вечер, с вином и сыром, как приезжала всегда, когда чувствовала, что мне надо. Соня чувствует такие вещи. Мы дружим с первого курса, и за тринадцать лет она ни разу не ошиблась.

— Мама одобрила, — сказала я, открывая бутылку.

— Мама одобрила? — Соня выронила кусок камамбера. — Твоя мама? Наталья Сергеевна?

— Она сказала держаться за него.

— Господи. Это знак. Это прям знак, Вер.

Мы сидели на полу у панорамного окна, как в студенчестве, и пили вино из больших бокалов. Соня рассказывала про своего Андрея, который опять задержался на работе, и про то, что младший не спит ночами. Я слушала её вполуха и смотрела на телефон. Половина двенадцатого. Ещё полчаса.

— Ты на телефон смотришь, как наркоман, — сказала Соня.

— Не смотрю.

— Смотришь. Каждые две минуты. Он во сколько пишет?

— В двенадцать. У него восемь утра.

Соня поставила бокал и посмотрела на меня. Внимательно, как смотрят, когда видят у подруги новую стрижку и не могут понять, идёт ей или нет.

— Вер. Я тебя такой не видела никогда. Ты влюбилась.

— Не говори глупостей.

— Ты влюбилась в мальчика с Сахалина, который тебе пишет «доброе утро» в полночь.

Я хотела возразить. Хотела сказать, что это не влюблённость, это просто приятная переписка, что я взрослый человек и понимаю, что из этого ничего не выйдет, восемь тысяч километров, восемь лет разницы, его мама, его зарплата, моя клиника. Я хотела всё это сказать, у меня был готов целый план возражений, пункт за пунктом.

Телефон завибрировал. Без двух минут двенадцать.

«Доброе утро. Я соскучился так, что сегодня чуть не проехал на красный».

Я прочитала и улыбнулась. Соня увидела мою улыбку и засмеялась, громко, запрокинув голову.

— Всё, — сказала она. — Всё с тобой понятно.

* * *

Когда Соня уехала, я долго стояла у окна. Город светился внизу, двадцать три этажа огней. Я думала про Катю, которая плакала в ординаторской. Про маму с её списком. Про Самойлова с его зубами. Про то, как я весь день держу всё и всех, как держала чашку в той кофейне во Владивостоке, до белых костяшек.

И про то, что есть один человек на краю земли, рядом с которым мне не надо ничего держать. Который сам спрашивает, что делать. Который слушается.

Я открыла сайт авиакомпании. Краснодар, Южно-Сахалинск. Нет. Наоборот. Южно-Сахалинск, Краснодар. Пятница, вечерний рейс. Одно место, эконом.

Нет. Бизнес.

Я оплатила, сделала скриншот и отправила ему. Без слов.

Ответ пришёл через минуту. Видимо, он стоял на светофоре.

«Это что?»

«Это ты. В пятницу. У меня».

Долгая пауза. Три точки появлялись и исчезали. Появлялись и исчезали. Я представляла, как он сидит в машине, в форме, с телефоном в больших руках, и не знает, что ответить. Может, ему неловко, что я купила билет. Может, он скажет, что не может, работа, мама, деньги.

«Мне никто никогда ничего не покупал», — написал он наконец. — «Я не знаю, как говорить спасибо».

«Я научу», — ответила я.

И выключила телефон, чтобы не видеть, что он напишет дальше. Мне хотелось, чтобы последнее слово осталось за мной.

Глава 5. Он прилетает на юг

Я приехала в аэропорт за сорок минут до посадки. Я никогда никуда не приезжаю раньше. Я приезжаю ровно, минута в минуту, и это одна из вещей, которыми я горжусь. А тут сорок минут. Я стояла у табло, смотрела, как напротив рейса из Москвы, куда он прилетал с пересадкой, загорается «Задерживается на 15 минут», и чувствовала, что сейчас кого-нибудь убью.

Я переоделась три раза перед выходом. Сначала платье, слишком. Потом джинсы и свитер, слишком просто, как будто мне всё равно. В итоге остановилась на брюках и шёлковой блузке, которую надеваю на переговоры. Броня. Привычная, удобная. В ней я точно знаю, кто я.

Он вышел одним из последних. Я увидела его сразу, издалека, потому что он был выше всех и в зимней куртке, расстёгнутой, в которой ему явно было жарко. Сахалинская куртка в краснодарском ноябре. Через плечо спортивная сумка. В руке букет.

Хризантемы. Белые, в шуршащей плёнке, из того киоска у выхода, где они стоят в ведре по триста рублей за ветку. Он нёс их перед собой, как несут что-то, за что неловко, но выбросить уже нельзя.

Он увидел меня и остановился. Посреди потока людей, так что в него врезалась женщина с чемоданом. Он извинился перед ней, не отводя от меня глаз. Покраснел. Даже отсюда я видела, что покраснел.

Я пошла к нему, не торопясь. Каблуки по плитке, ровно, как на совещание. Остановилась в шаге.

— Привет, — сказал он. И протянул цветы. — Это тебе. Я не знал, какие ты любишь.

Я не люблю хризантемы. Они пахнут кладбищем и школьной линейкой. Я взяла их, прижала к груди, и плёнка зашуршала, и я сказала:

— Спасибо. Они чудесные.

Это была моя первая ложь ему. Маленькая, добрая. Я тогда ещё не знала, что мы оба будем считать.

* * *

В машине он молчал. Смотрел в окно на пальмы вдоль дороги, на солнце, на людей в лёгких куртках, и молчал. Я вела и чувствовала его взгляд на себе, на руках на руле, на коленях.

— У тебя красивая машина, — сказал он наконец.

— Спасибо.

— Дорогая, наверное.

— Наверное.

Он кивнул. Потом снова посмотрел в окно.

— Я на свою три года копил. Ей двенадцать лет. Но она хорошая. Ты увидишь.

Я хотела сказать, что это неважно. Что мне всё равно, сколько стоит его машина. Но это была бы неправда, и он бы это понял. Поэтому я просто положила руку ему на колено. Он вздрогнул, как тогда, в номере, когда я тронула синяк. И накрыл мою руку своей. Большой, горячей, шершавой.

Мы ехали так до самого ресторана. Мне было неудобно переключать передачи левой рукой. Я не убрала правую.

* * *

Ресторан я выбрала заранее. Не самый пафосный, но хороший: итальянская кухня, приглушённый свет, официанты, которые знают меня по имени. Я хотела, чтобы ему было хорошо. И, если честно, я хотела посмотреть, как он будет выглядеть в моём мире.

Он выглядел как медведь в посудной лавке. Он не знал, куда деть руки. Он не знал, что такое бурата. Он открыл меню, посмотрел на цены, и я увидела, как у него дёрнулся кадык.

— Я угощаю, — сказала я.

— Нет.

— Глеб.

— Нет, — повторил он. Тихо, но очень твёрдо. — Я мужчина. Я заплачу.

Я хотела спорить. Я привыкла спорить с мужчинами, которые говорят «я мужчина», это обычно заканчивается тем, что я плачу, а они обижаются. Но он сказал это так, без позы, без вызова. Просто как факт, который мама вложила ему в голову ещё в детстве, вместе с «мой руки перед едой» и «уступай место пожилым».

— Хорошо, — сказала я.

Когда он отошёл в туалет, я подозвала официанта Артёма и тихо попросила, чтобы в счёте было на две трети меньше, а остальное он спишет с моей карты. Артём понимающе кивнул. Глеб вернулся, заплатил, не глядя на сумму, только чуть выдохнул. Я сделала вид, что не заметила.

Это была вторая ложь. Тоже добрая.

Вино он не понимал. Он пил его, как компот, большими глотками, и через полчаса у него порозовели щёки и развязался язык. Он рассказывал про Сахалин. Про то, как зимой дорогу заметает так, что едешь вслепую по столбам. Про рыбалку, про то, как ловят корюшку со льда и она пахнет огурцом. Про маму, которая не верит, что он полетел к девушке, и думает, что он врёт и едет на сборы.

— Почему ты ей не сказал?

— Сказал, — он пожал плечами. — Она не верит. Говорит, такие, как ты, на таких, как я, не смотрят.

— Какие такие?

Он посмотрел на мою блузку, на кольцо на пальце, на часы.

— Такие.

Я отставила бокал и наклонилась к нему через стол.

— А я смотрю.

Он сглотнул. Кадык дёрнулся снова. Я смотрела на его горло и думала, что хочу его укусить. Прямо здесь, при Артёме, при всём ресторане.

— Поехали, — сказала я.

— Домой?

— Нет. Сначала я тебе кое-что покажу.

* * *

Офис был на четырнадцатом этаже бизнес-центра. В одиннадцать вечера пятницы там было пусто и тихо, только гудели кондиционеры и горел дежурный свет в коридоре. Охранник

внизу, Сергей Иваныч, поднял на нас глаза от кроссворда, увидел меня и снова опустил. Он видел меня здесь в любое время суток. Он не удивлялся ничему.

Я включила свет в приёмной. Глеб остановился на пороге. Он смотрел на стены: на дипломы, на сертификаты, на большую фотографию на стене, где я стою в белом халате посреди новой клиники и перерезаю красную ленточку. Под фотографией табличка: «Вера Андреевна Соколова. Генеральный директор сети клиник „Белый лист“».

Он долго смотрел на эту табличку.

— Это всё твоё? — спросил он.

— Да.

— Сама?

— Сама.

Он повернулся ко мне. И я увидела в его лице что-то новое. Не робость. Не восхищение. Что-то похожее на голод.

— Покажи мне свой кабинет, — сказал он.

Я повела его не в кабинет. Я повела его в переговорную. Длинная комната со стеклянной стеной, огромный белый стол на двенадцать человек, кожаные кресла. Днём здесь сидят мои замы, юристы, главврачи. Здесь я увольняю, нанимаю, кричу и подписываю. Жалюзи были опущены наполовину, и сквозь щели видно было ночной город, огни, дорогу внизу.

Я не стала включать свет. Только подсветку по периметру потолка, тусклую, синеватую.

— Здесь я провожу планёрки, — сказала я. — Каждый понедельник. В восемь утра.

Он подошёл к столу. Провёл по нему ладонью, медленно, от края до края.

— Где ты сидишь?

Я показала. Во главе стола, спиной к окну.

Он обошёл стол, встал у моего кресла. Положил руки на спинку.

— Садись, — сказал он.

Я подняла брови. Он покраснел, но не отвёл глаз.

— Пожалуйста, — добавил он.

Я подошла и села. Кожа кресла была холодной сквозь тонкие брюки. Он стоял сзади, и я не видела его лица, только чувствовала его руки на спинке кресла, рядом с моими плечами. Потом его ладони легли мне на плечи. Медленно сползли вниз, на ключицы. Пальцы нашли верхнюю пуговицу блузки.

— Можно?

— Нет, — сказала я.

Он замер.

Я встала, повернулась к нему. Взяла его за ремень и потянула к себе, к столу, пока он не упёрся бёдрами в край.

— Не спрашивай. Здесь не спрашивай. Здесь я каждый день отвечаю на вопросы, я больше не могу. Просто делай.

Он смотрел на меня сверху вниз, долго. А потом взял меня за талию и одним движением поднял и посадил на стол. Как будто я ничего не весила. Как будто делал это сто раз.

У меня перехватило дыхание.

* * *

Он расстёгивал блузку быстро, не так, как тогда, с бюстгальтером. Одна пуговица отлетела и покатилась по столу, и он даже не посмотрел. Шёлк соскользнул с плеч. Он стянул его до

локтей и оставил так, и я не могла поднять руки, они были стянуты моей собственной блузкой, и от этого по позвоночнику пошла горячая волна.

— Ложись, — сказал он.

И я легла. На свой стол. На то самое место, где каждый понедельник лежат отчёты, графики, планы продаж. Стол был холодный, гладкий, и моя спина прилипала к нему, и над головой синевато светился потолок. Он стоял между моих колен и смотрел на меня так, будто не верил, что ему можно.

Он расстегнул мои брюки и стянул их вместе с бельём, медленно, по бёдрам, по коленям, и бросил куда-то в сторону, на кресло финансового директора. Я лежала перед ним почти голая, на столе переговорной, с руками, спутанными блузкой, с раздвинутыми ногами, и мне было так стыдно и так хорошо, что я закрыла глаза.

— Смотри на меня, — сказал он.

Моими словами. Моими же словами из Владивостока. Я открыла глаза.

Он наклонился и поцеловал меня в живот. Потом ниже. Потом ещё ниже, и я выгнулась, и стол скрипнул подо мной. Он делал это неумело, но так жадно, так старательно, как будто от этого зависела его жизнь. Я сказала «медленнее», и он замедлился. Я сказала «вот здесь», и он нашёл. Я запустила пальцы ему в волосы, насколько позволяла блузка, и держала его там, и он не сопротивлялся.

Где-то внизу, на улице, просигналила машина. В коридоре щёлкнул кондиционер. Мне было всё равно. Если бы Сергей Иваныч сейчас поднялся проверить, почему в переговорной горит подсветка, мне было бы всё равно.

Я кончила, впившись пятками в край стола, громко, так что эхо отразилось от стеклянной стены. Он поднял голову. Губы мокрые, глаза тёмные, совсем тёмные.

— Ещё, — сказала я. — Теперь сам. Возьми меня.

Он расстегнул ремень. Я слышала, как звякнула пряжка, как зашуршали джинсы. Он взял меня под колени и подтянул к краю стола, резко, так что я съехала по гладкой поверхности, и вошёл одним движением, глубоко, до упора.

Я вскрикнула.

Он остановился.

— Не останавливайся, — выдохнула я. — Никогда не останавливайся, если я не скажу.

И он не остановился. Он брал меня на моём столе, держа за бёдра, и стол ездил по полу с каждым толчком, и скрипели ножки, и шуршали бумаги, которые кто-то забыл в конце стола, и они падали на пол одна за другой. Я лежала и смотрела на него снизу: на его лицо, сосредоточенное, почти злое, на мышцы на руках, на капли пота на висках. Он не смотрел мне в глаза. Он смотрел туда, где мы соединялись, и от этого взгляда я кончила второй раз, судорожно, неожиданно для самой себя.

Он кончил следом, вцепившись в мои колени, с хриплым стоном сквозь зубы.

* * *

Потом мы лежали на полу переговорной, на ковролине, на его куртке. Я в расстёгнутой блузке без одной пуговицы. Он в одних джинсах. Из-за жалюзи падали полосы света от фонарей, и они лежали на нас, как решётка.

— Я никогда так не делал, — сказал он в потолок.

— Как?

— Без спроса.

Я повернулась к нему. Он лежал, закинув руку за голову, и смотрел вверх. Лицо спокойное, и в то же время что-то в нём было новое. Какая-то уверенность, которой не было в аэропорту, с хризантемами.

— Тебе понравилось? — спросила я.

Он помолчал.

— Да.

— Мне тоже.

Он повернул голову. Посмотрел на меня.

— Я не думал, что ты такая.

— Какая?

Он не ответил. Только протянул руку и провёл большим пальцем по моей нижней губе. Медленно, с нажимом. Так, что я невольно приоткрыла рот.

И я подумала: в понедельник в восемь утра я буду сидеть во главе этого стола и слушать отчёт финансового директора. И буду помнить, где лежали его руки. И никто не узнает.

Пуговицу мы так и не нашли. Утром в понедельник уборщица положила её мне на стол. Маленькую, перламутровую. Я спрятала её в ящик и ничего не сказала.

Глава 6. Грубее

В субботу утром я проснулась от запаха жареного. Это было так странно, что я сначала не поняла, где я. В моей квартире никогда не пахло жареным. В моей квартире пахло кофе из капсул, диффузором с бергамотом и иногда доставкой из японского ресторана.

Он стоял у плиты в одних трусах и жарил сырники. Мои яйца, мой творог, который я купила для смузи и забыла. Сковородку он нашёл где-то в глубине шкафа, я и не знала, что она у меня есть. На столе уже стояла тарелка с горкой, кривоватых, пригоревших с одного бока, присыпанных сахаром.

— Доброе утро, — сказал он, не оборачиваясь. — Я не знал, что ты ешь. Мама всегда по субботам сырники делает.

Я стояла в дверях кухни в его футболке, которая доставала мне до середины бёдер, и смотрела на его спину. Широкую, с родинкой под левой лопаткой, с царапинами от моих ногтей. Свежими, вчерашними.

Я не ем сырники. Я не ем жареное, сахар и творог больше пяти процентов. Я села за стол и съела три штуки. Он сидел напротив и смотрел, как я ем, подперев голову рукой, и у него было такое лицо, будто он смотрит на рассвет.

— Вкусно?

— Очень.

Это даже не было ложью.

* * *

Мы провели субботу так, как я не проводила выходные никогда. Не проверяли почту. Не ехали в спортзал. Гуляли по парку, ели шаурму из ларька у дороги, потому что он увидел и захотел, и смеялись, когда соус капнул мне на кашемировое пальто. Он держал меня за руку на улице. Просто так, как держат подростки, переплетя пальцы. Меня никто не держал за руку на улице лет десять.

А днём, когда мы вернулись и легли на диван смотреть какой-то фильм, он целовал меня так нежно, так медленно, так бережно, что мне захотелось его ударить.

Я сама не понимала, откуда это. После вчерашнего, после стола в переговорной, после того, как он поднял меня одной рукой и взял без спроса, он вдруг снова стал тем мальчиком из Владивостока. Осторожным. Спрашивающим. Его руки скользили по мне так, будто я была из фарфора. Он целовал меня в висок, в шею, в плечо, и каждый поцелуй был вопросом: можно? Можно? А так можно?

И я лежала под ним и чувствовала, как во мне растёт раздражение. Глухое, тяжёлое, как перед грозой.

— Глеб, — сказала я.

Он поднял голову.

— Что-то не так?

Всё не так. Я не знала, как это объяснить. Я тридцать один год держала всё под контролем, каждую секунду, каждый вдох. И вчера, на том столе, на одну минуту я этот контроль отпустила. И это была лучшая минута за много лет. А сейчас он снова вернул мне контроль, обратно в руки, вежливо, бережно, как возвращают забытую сумку. И мне не нужна была эта сумка.

— Ты боишься меня? — спросила я.

Он нахмурился.

— Нет.

— Тогда почему ты обращаешься со мной, как с вазой?

Он молчал. Я видела, как он ищет слова, и не находит, и злится на себя, что не находит.

— Я не хочу сделать тебе больно, — сказал он наконец.

Я села на диване. Посмотрела на него. Он лежал, опираясь на локоть, растерянный, большой, красивый, с этим своим шрамом и ямочкой на одной щеке. Мальчик. Мой мальчик.

— А если я хочу? — сказала я.

* * *

Мы не пошли в спальню. Я так решила. Я хотела, чтобы это было здесь, в гостиной, у панорамного окна, при дневном свете. Чтобы он видел всё. Чтобы я видела всё. Чтобы не было темноты, за которой можно спрятаться.

Я встала перед ним, перед диваном, и сняла его футболку с себя. Медленно, через голову. Под ней ничего не было. Он смотрел на меня, и я видела, как у него напряглась челюсть.

— Встань, — сказала я.

Он встал.

Я подошла и вытащила его ремень из шлёвок джинсов. Он висел на спинке дивана со вчера, кожаный, потёртый, с тяжёлой пряжкой. Ремень полицейского. Я взвесила его в руке. Тяжёлый.

— Вера, что ты…

— Тихо.

Я сложила ремень пополам. Протянула руки перед собой, запястья вместе. И обмотала ремень вокруг них. Сама. Два оборота. Продела конец в пряжку и затянула зубами. Неплотно. Чтобы можно было вынуть руки, если очень захотеть.

А свободный конец протянула ему.

Он смотрел на ремень. На мои запястья. На меня. Он не брал.

— Слушай меня внимательно, — сказала я. — Ты сейчас возьмёшь это. И будешь делать со мной то, что захочешь. Не то, что я скажу. То, что захочешь ты. Если мне станет плохо по-настоящему, я скажу одно слово. И ты сразу остановишься.

— Какое слово?

Я подумала.

— «Сахалин».

Он долго молчал. Я стояла перед ним голая, со связанными руками, при дневном свете, на двадцать третьем этаже, и чувствовала, как сердце колотится в горле. Если он сейчас откажется, я умру от стыда. Если он сейчас скажет «Вера, давай не будем», я его выгоню. Прямо сейчас, в трусах, на лестничную клетку.

Он взял ремень.

* * *

Сначала он не знал, что делать. Он стоял, держа ремень, как держат поводок собаки, которую видят впервые. Потом медленно, очень медленно, потянул. И я сделала шаг к нему. Он потянул снова. Я сделала ещё шаг. Пока не уткнулась ему в грудь.

Он смотрел на меня сверху вниз. И я увидела, как что-то меняется в его глазах. Медленно, как меняется свет, когда солнце заходит за тучу.

— На колени, — сказал он тихо.

И голос был не его. Ниже. Ровнее. Голос, которым, наверное, говорят на допросах.

Я опустилась на колени. На светлый ковёр, у его ног, со связанными руками. Он стоял надо мной и смотрел. Долго. Я чувствовала его взгляд на макушке, на шее, на спине. Он не торопился. Он учился не торопиться.

Потом он расстегнул джинсы.

Я взяла его в рот, не дожидаясь, и он положил руку мне на затылок. Сначала легко. А потом, когда я подняла на него глаза, сжал пальцы в моих волосах. И потянул.

Было больно. Остро, сладко больно, кожа на голове вспыхнула, и я застонала, не выпуская его, и он услышал этот стон, и я почувствовала, как он вздрогнул. Как будто этот звук что-то в нём включил.

Он потянул сильнее. Задавая ритм. Свой ритм. Не мой. Я не могла остановиться, не могла отстраниться, руки были связаны, его пальцы держали мои волосы, и всё, что я могла, это подчиняться. Впервые за тридцать один год. Подчиняться.

Слёзы потекли сами. Не от боли, не от обиды. От облегчения.

* * *

Он поднял меня с колен за ремень, за связанные руки, рывком. Развернул лицом к окну. Толкнул вперёд, и я упёрлась лбом и связанными руками в холодное стекло. Двадцать третий этаж. Город внизу, крыши, машины, люди, солнце. Если бы кто-то сейчас посмотрел в бинокль из дома напротив, он увидел бы меня. Голую, прижатую к стеклу. И мне было всё равно.

Он встал сзади. Намотал мои волосы на кулак и откинул мне голову назад. Другой рукой провёл по моей спине, по позвоночнику, вниз, медленно, тяжело.

— Так? — спросил он мне в ухо.

И это было уже не «можно?». Это был другой вопрос. Он проверял, не перешёл ли границу. Он не спрашивал разрешения. Он спрашивал, достаточно ли.

— Сильнее, — сказала я.

Он ударил меня ладонью. По бедру, сбоку, не сильно, но звонко, и кожа вспыхнула, и я вскрикнула в стекло, и оно запотело от моего дыхания. Он замер на секунду. Ждал слова. Я молчала.

Он ударил снова. Сильнее.

И вошёл в меня сзади, резко, глубоко, держа за волосы, прижимая к стеклу. Я билась об окно лбом, ладонями, грудью. Стекло было холодное, он был горячий, и я была между ними, раздавленная, распятая, и я кричала, и мне было плевать, слышат ли соседи. Он не спрашивал. Он не останавливался. Он брал меня так, как никто никогда не брал, и я не могла пошевелиться, не могла ничего решить, не могла ничего контролировать.

Я кончила так, что подогнулись колени. Он держал меня, не давая упасть, за волосы и за талию, и продолжал, пока не кончил сам, с глухим рыком, уткнувшись лицом мне в шею, впившись зубами в плечо.

* * *

Потом он развязывал ремень. Долго, осторожно, пальцы дрожали, как тогда, с застёжкой бюстгальтера. На запястьях остались красные полосы. На бедре проступал отпечаток ладони. На плече следы зубов.

Он смотрел на всё это, и лицо у него было растерянное, почти испуганное.

— Вера. Я тебе не сделал больно?

Я засмеялась. Хрипло, сорванным голосом.

— Сделал. Ты сделал мне больно. Ровно так, как я хотела.

Он взял моё запястье и поднёс к губам. Поцеловал красную полосу. Медленно, нежно, снова как мальчик. Но я видела его глаза. Он смотрел на эту полосу дольше, чем нужно. Внимательнее, чем нужно. Как смотрят на что-то, что сделали своими руками и чем гордятся.

Я заметила этот взгляд. И мне понравилось.

Я тогда не подумала, что это может что-то значить. Мне было слишком хорошо, чтобы думать.

* * *

В воскресенье вечером я везла его в аэропорт. Мы почти не разговаривали. Он держал руку у меня на колене всю дорогу, и я переключала передачи левой.

У входа в терминал я остановилась. Он вышел, забрал сумку из багажника. Я думала, он поцелует меня в щёку, неловко, через открытое окно. Как вчерашний мальчик.

Он обошёл машину, открыл мою дверь. Взял меня за подбородок. Наклонился и поцеловал. Глубоко, долго, при всех, при таксистах, при семье с детьми, при охраннике. Не спрашивая. Держа меня за подбородок так, что я не могла отвернуться.

Потом выпрямился и сказал:

— До встречи, Вера.

И ушёл, не оглядываясь. Как я тогда, во Владивостоке.

Я сидела в машине с открытой дверью, и сзади сигналило такси, а я сидела и трогала пальцами свои губы.

Он учился быстро. Быстрее, чем я думала.

Глава 7. Картинка

Я открываю клиники по одной и той же схеме. Сначала я нахожу помещение. Потом делаю план: где ресепшен, где кабинеты, где стерилизационная, где стена с логотипом. Потом я нанимаю людей и учу их работать так, как нужно мне. Через полгода клиника работает сама. Через год приносит прибыль.

Я никогда не думала, что можно так же с человеком. Я и не думала. Оно просто случилось.

* * *

Сначала было пальто.

Он прислал фотографию из отдела, в своей зимней куртке, той самой, сахалинской, с вытертыми манжетами и сломанной молнией на кармане. Подписал: «Минус двадцать два. Ты бы тут замёрзла». Я смотрела на куртку и думала, что в ней он похож на охранника автостоянки.

Вечером я открыла сайт одного магазина и выбрала пальто. Тёмно-синее, шерсть с кашемиром, прямой крой, такое, в котором широкие плечи выглядят не громоздко, а благородно. Размер я знала. Я знала его размер так, как знают размер собственной ладони. Я оформила доставку на Сахалин. Восемь дней.

Потом добавила в корзину шарф. Серый, мягкий. Потом перчатки, кожаные, на подкладке. Потом два свитера, джинсы правильного кроя вместо его мешковатых, ботинки вместо его кроссовок, в которых он ходил и зимой.

Сумма вышла неприличная. Я оплатила, не моргнув. Я тратила больше на одну рекламную кампанию.

Когда коробки пришли, он позвонил мне. Голос был странный, глухой.

— Вера. Зачем?

— Тебе не нравится?

— Нравится. Мама увидела. Она… она спросила, сколько это стоит. Я сказал, что не знаю. Она нашла чек в коробке.

Я молчала. Я не подумала про чек.

— Она плакала, — сказал он. — Сказала, что ты меня покупаешь.

У меня внутри что-то сжалось. Неприятно, холодно. Я хотела сказать: «Твоя мама ничего не понимает». Я хотела сказать: «Я просто хочу, чтобы ты был тёплым». Я хотела сказать много вещей, и все они были бы правдой только наполовину.

— А ты как думаешь? — спросила я.

Он долго молчал. Я слышала, как он дышит. Как где-то на фоне работает телевизор, мамин, наверное, сериал.

— Я думаю, что в нём я похож на мужчину, который может быть с тобой, — сказал он наконец.

На следующий день он прислал фотографию. В пальто, в шарфе, в перчатках, на фоне сугробов у отдела. Спина прямая, подбородок вверх. Он стоял не так, как стоял раньше. Будто пальто изменило ему осанку.

Подпись: «Мужики ржали полдня. Потом Серёга спросил, где купить такое же».

* * *

Потом была стрижка.

Я нашла ему барбершоп в Южно-Сахалинске. Один нормальный на весь город, с отзывами и портфолио. Сама записала его, сама оплатила онлайн. Сама отправила мастеру фотографию, как надо: короче по бокам, длиннее сверху, чтобы открыть лоб и этот шрам на скуле. Шрам надо было не прятать, а показывать.

Он пошёл. Прислал селфи из машины. Я смотрела на него минут пять. Он стал старше. Жёстче. Мальчишеская мягкость ушла из лица, и остались скулы, челюсть, шрам. И глаза. Светлые, внимательные. Глаза, которые я раньше не замечала, потому что их закрывала чёлка.

«Ну как?» — написал он.

Я хотела написать «красивый». Написала:

«Теперь ты похож на того, кто может приказывать».

Он ответил через минуту. Одним словом.

«Учусь».

* * *

Потом было вино. Мы созванивались по видео, по вечерам, когда у меня было девять, а у него пять утра, и он сидел на кухне в одних трусах, пока мама спала. Я наливала себе бокал и учила его. Что такое танины. Почему белое не пьют с мясом. Как держать бокал за ножку, а не за чашу, как стакан с пивом. Он записывал в заметки. Серьёзно, старательно, как на лекции.

Потом были книги. Я составила ему список из десяти. Не самых умных. Тех, которые читают люди моего круга, о которых можно поговорить за ужином, не выдав, что ты из Южно-Сахалинска. Он прочитал первую за четыре дня. Позвонил ночью, взволнованный, и говорил про неё сорок минут, сбиваясь, путая имена героев. Мне было смешно и трогательно. Я слушала и думала: он справится. Он со всем справится.

Потом были слова. Я поправляла его, мягко, между делом. Не «ложи», а «клади». Не «чё», а «что». Не «мой бывший начальник», а «мой прежний руководитель». Он не обижался. Он повторял за мной, как ученик за учителем, и в следующий раз говорил правильно. С первого раза. Он был лучшим учеником из всех, кого я когда-либо нанимала.

* * *

— Ты его как клинику открываешь, — сказала Соня.

Мы сидели в кафе у её дома. Младший дремал в коляске, старший был в саду. Соня пила латте на безлактозном и смотрела на меня поверх чашки. Я только что показала ей фотографию Глеба в пальто, с новой стрижкой.

— В смысле?

— В прямом. Помещение нашла, ремонт сделала, персонал обучила. Скоро вывеску повесишь.

— Я ему просто помогаю.

— Вер. Ты ему стрижку выбираешь. И книжки. И как говорить.

— Ему нравится.

— Я не спорю, что ему нравится. Я спрашиваю, что нравится тебе. Он или то, что ты из него делаешь?

Я отставила чашку. Мне не понравился этот вопрос. Он был как камешек в ботинке: маленький, но идти неудобно.

— А какая разница? — сказала я. — Андрей тоже не родился таким, каким ты его сделала. Ты его десять лет воспитывала.

Соня помолчала. Посмотрела на коляску. Поправила одеяльце, которое не нужно было поправлять.

— Ну да, — сказала она тихо. — Воспитывала.

И что-то в её голосе было такое, отчего мне стало неуютно. Но я не стала спрашивать. Мне не хотелось сейчас слушать чужие проблемы. Мне хотелось слушать про свою картинку.

* * *

Картинка была такая.

Он переводится в Краснодар. У меня есть пациент, полковник из областного управления, я ставила ему импланты по себестоимости. Один звонок, и место найдётся. Глеб переезжает ко мне, на двадцать третий этаж. Год живём вместе, привыкаем. Потом свадьба. Небольшая, человек на тридцать, в загородном ресторане у моря. Он в синем костюме, я в простом платье без фаты. Мама плачет. Соня держит букет.

Потом ребёнок. Мальчик. Нет, девочка. Нет, сначала мальчик, похожий на него, с ямочкой на одной щеке. Я иду в декрет на полгода, не больше, клиники справятся. Он забирает сына из сада в форме, и все воспитательницы завидуют мне.

По воскресеньям мы ездим к моей маме в станицу, и она кормит его борщом, и говорит, что я наконец-то сделала что-то правильное.

Я проигрывала эту картинку перед сном каждый вечер. Как кино. Детали менялись, но суть оставалась. И каждый раз, когда я её проигрывала, внутри становилось тепло и спокойно. Как будто кто-то наконец выдал мне инструкцию к жизни, которую я тридцать один год собирала наугад.

Я не спрашивала его, хочет ли он переезжать. Хочет ли детей. Хочет ли синий костюм. Мне не приходило в голову спросить. Он ведь хотел всего, что предлагала я. Он ведь учился.

* * *

В середине декабря что-то изменилось.

Сначала по мелочи. Он стал писать короче. Не холоднее, нет, а как-то увереннее. Раньше он писал: «Доброе утро, Вера. Как ты спала? Я вот сегодня…» и дальше три абзаца. Теперь: «Доброе утро. Позавтракай нормально».

Позавтракай нормально.

Я смотрела на это сообщение и не знала, раздражаться или радоваться. Мне никто не говорил, что делать. Никогда. Даже мама уже лет десять как перестала.

Потом, когда я написала ему в два часа ночи, что не могу уснуть, что завтра совет директоров, что Самойлов опять что-то затевает, он ответил:

«Ложись спать. Положи телефон. Сейчас».

И я положила. Положила телефон на тумбочку экраном вниз, легла на спину, закрыла глаза. И уснула через пять минут. Как будто кто-то выключил у меня в голове свет.

Утром я проснулась отдохнувшая. Впервые за месяц.

И подумала: это я его научила. Это мои слова. Мой тон. Моя интонация. Он взял её у меня, как берут книгу с полки, и теперь возвращает.

Мне это понравилось. Очень.

* * *

Перед Новым годом он позвонил по видео. У него было утро, и за его спиной в окне висело серое небо, и сыпал снег, крупный, медленный.

— Прилетай, — сказал он.

— Куда?

— Ко мне. На праздники. Я взял отпуск со второго по восьмое.

— Глеб, у меня…

— У тебя клиники закрыты до девятого. Я знаю. Ты сама говорила.

Я говорила. Я и забыла, что говорила. А он запомнил.

— А твоя мама?

— Мама хочет с тобой познакомиться.

— Твоя мама считает, что я тебя покупаю.

Он помолчал. Посмотрел в камеру. Прямо, не отводя глаз. С новой стрижкой, со шрамом, в сером свитере, который я ему выбрала.

— Прилетай, Вера, — повторил он. Тише. Не как просьбу. — Я тебе покажу край земли.

И я купила билет. Сразу, не кладя трубку, пока он смотрел на меня с экрана.

Я даже не спросила, где буду жить. Я знала, что он всё решил.

Глава 8. Край земли

Самолёт садился в темноте. Внизу не было ничего. Ни огней, ни дорог, ни городов. Только белое, бесконечное, и чёрные пятна леса, и где-то далеко полоса моря, тёмная, как разлитая нефть. Я смотрела в иллюминатор и думала, что так, наверное, выглядит конец света. Или его начало.

В Южно-Сахалинске было минус двадцать шесть. Я поняла это, когда вышла на трап и вдохнула. Воздух вошёл в лёгкие, как нож, и я закашлялась, и глаза сразу заслезились, и слёзы замёрзли на ресницах. Моё пальто, лучшее зимнее пальто, которое я купила в Москве прошлой зимой, оказалось тонким, как бумага. Через двадцать шагов до автобуса у меня онемели пальцы.

Он стоял в зале прилёта. В синем пальто, в сером шарфе. Мои вещи. Мой выбор. Он стоял, расставив ноги, руки в карманах, и не улыбался. Просто смотрел, как я иду.

Я остановилась перед ним. Он вынул руку из кармана, взял мою ладонь и поднёс к губам. Подышал на пальцы. Потом снял с себя шарф и намотал мне на шею, плотно, два оборота, так что я уткнулась в него носом. Шарф пах им.

— Ты замёрзла, — сказал он.

Не спросил. Сказал.

— Немного.

— Я же говорил, что ты замёрзнешь.

И взял мою сумку. И пошёл к выходу, не оглядываясь, будто знал, что я пойду за ним.

Я пошла.

* * *

Его машина стояла на парковке, белая, с наростами льда на крыльях, с правым рулём. Старый японский седан, которому двенадцать лет, на который он три года копил. Внутри было тепло: он прогревал её, пока ждал меня. На приборной панели лежали мои перчатки, которые я ему подарила, и пакет с ещё горячими пирожками.

— Мама передала, — сказал он. — С капустой и с печенью.

Я съела два, сидя на пассажирском сиденье слева, где у нас водитель, и это было странно, как будто мир перевернули. Он вёл уверенно, одной рукой, другая лежала у меня на колене. Дорога была белая, фонари редкие, по обочинам сугробы выше машины.

— Куда мы едем?

— Сначала в гостиницу. Ты отдохнёшь. Завтра к маме.

— А сегодня?

Он посмотрел на меня. Быстро, коротко.

— А сегодня я покажу тебе море.

* * *

Утром мы поехали на восток. Он сказал, что туда, где Охотское море, где пусто, где можно ехать час и не встретить ни одной машины. Я спала до одиннадцати, потому что разница во

времени перевернула мне голову, и он не будил. Когда я проснулась, на тумбочке стоял кофе в бумажном стакане, ещё тёплый, и записка: «Жду внизу. Оденься тепло. Это приказ».

Это приказ. Я прочитала, и у меня внутри что-то сжалось и потекло.

Дорога шла вдоль берега. Слева сопки, белые, в чёрной щетине леса. Справа море. Оно было не синее и не серое. Оно было белое, застывшее, во льдах, торосах, нагромождениях, и только где-то далеко, у горизонта, темнела полоса открытой воды. Небо было низкое, тяжёлое, оно лежало на сопках, как одеяло.

Пошёл снег. Сначала мелкий, сухой. Потом гуще. Потом подул ветер с моря, и снег пошёл не сверху, а сбоку, горизонтально, и дорога исчезла. Только два ряда полосатых столбиков по краям, которые выныривали из белого по одному.

— Метель, — сказал он спокойно. — Сейчас переждём.

Он съехал на обочину, на широкую площадку, где летом, наверное, стоят машины туристов. Заглушил двигатель, потом снова завёл, чтобы работала печка. Включил аварийку. Оранжевый свет вспыхивал и гас, вспыхивал и гас, отражаясь в снегу.

Вокруг не было ничего. Белая стена со всех сторон. Ветер выл, бился в машину, раскачивал её, как лодку. Стёкла облепило снегом, и через минуту мы оказались внутри белого кокона. Печка гудела. Пахло тёплым пластиком, кофе и им.

— Здесь никого нет, — сказал он. — На двадцать километров в каждую сторону.

И повернулся ко мне.

* * *

Я думала, что поведу я. Как всегда. Как во Владивостоке, как в переговорной, как дома с ремнём. Я уже потянулась к нему, уже положила руку ему на грудь, уже приготовила слова.

Он взял мою руку и убрал её. Мягко, но твёрдо. Положил мне на колени.

— Не трогай, — сказал он.

Я замерла.

Он отстегнул мой ремень безопасности. Медленно, так, что лента проскользила по моей груди. Потом нагнулся и нашёл рычаг сбоку моего кресла, и спинка резко ушла назад, и я оказалась полулёжа, глядя в низкий потолок машины.

— Сними шарф, — сказал он.

Я сняла.

— Расстегни пальто.

Я расстегнула.

Он не прикасался ко мне. Он сидел на водительском сиденье, повернувшись, и смотрел, как я раздеваюсь. Пальто. Свитер, через голову, волосы наэлектризовались и встали дыбом, и он улыбнулся одним уголком рта. Термобельё, которое я купила специально, некрасивое, практичное. Я стянула его и осталась в бюстгальтере. В машине было тепло, но от стекла тянуло холодом, и кожа покрылась мурашками.

— Дальше, — сказал он.

Я расстегнула бюстгальтер. Соски сразу затвердели, от холода, от его взгляда. Он смотрел и молчал. Аварийка вспыхивала оранжевым, и моя кожа то загоралась, то гасла.

— Джинсы.

Это было трудно. В машине, полулёжа, в зимних ботинках. Я возилась, ёрзала, стягивала их по бёдрам, а он смотрел, не помогая, и я чувствовала себя неловкой, глупой, беспомощной. И от этой беспомощности становилась только мокрее.

Когда я наконец осталась перед ним голая, в одних шерстяных носках и ботинках, на откинутом кресле его старой машины посреди метели на краю земли, он наклонился и тихо сказал мне в ухо:

— Вот теперь ты моя.

* * *

Он перелез ко мне. Это было неудобно и смешно: он большой, машина маленькая, он ударился головой о потолок и коленом о рычаг коробки, и выругался, и я засмеялась. А потом перестала смеяться, потому что он навис надо мной, и в машине вдруг стало совсем тесно, совсем жарко, и его тело закрыло весь свет.

Он был в одежде. Я была голая. Шерсть его свитера царапала мне грудь, пряжка ремня холодила живот. Он взял мои руки и поднял над головой, прижал запястья к подголовнику одной ладонью. Другой провёл по мне сверху вниз: по горлу, по ключицам, по груди, по животу, медленно, тяжело, как проводят ладонью по капоту машины, которую собираются купить.

— Ты знаешь, сколько я об этом думал? — сказал он.

— Сколько?

— С Владивостока. Каждый день. Как ты будешь здесь. В моей машине. На моём острове.

Его пальцы скользнули между моих ног, и я выгнулась, и затылок ударился о подголовник.

— Ты мокрая, — сказал он. Без удивления. Как констатируют факт в протоколе.

— Да.

— С какого момента?

Я не ответила. Он вошёл пальцами глубже, медленно, и я застонала.

— С какого момента, Вера?

— С записки, — выдохнула я. — С «это приказ».

Он улыбнулся. Я почувствовала эту улыбку щекой, потому что он прижался губами к моему виску.

— Хорошо, — сказал он. — Запомню.

* * *

Он расстегнул джинсы, не отпуская моих рук. Вошёл в меня резко, одним движением, и машина качнулась, и снег посыпался с крыши на капот. Я закричала, и крик утонул в вое метели. Никто не слышал. Никто не мог услышать. Мы были одни на краю земли, в белом коконе, и он брал меня в тесной машине, держа мои руки над головой, вдавливая меня в кресло.

Он двигался медленно, глубоко, тяжело, каждый толчок до упора. Не торопился. Он научился не торопиться. Он смотрел мне в лицо, неотрывно, внимательно, и я не могла отвернуться, потому что некуда было. Его глаза в оранжевых вспышках аварийки были то светлые, то тёмные, то светлые, то тёмные.

Кресло скрипело. Печка гудела. Ветер бил в машину, и она раскачивалась в такт, будто метель тоже участвовала. Стёкла запотели изнутри так, что потекли капли, и в одном месте, у моей головы, на стекле остался отпечаток моей ладони, когда я на секунду вырвала руку и упёрлась в окно. Он поймал её и вернул обратно. Без слов.

— Не отпускай меня, — сказала я.

Сама не знаю, зачем я это сказала.

Он остановился. Посмотрел на меня. И я вдруг услышала себя со стороны, свой голос, просящий, тонкий. Совсем не директорский.

— Скажи ещё раз, — сказал он.

Я закрыла глаза. Открыла. Посмотрела на него.

— Не отпускай меня, — повторила я. — Сделай меня своей. Совсем.

Что-то дрогнуло в его лице. Он наклонился и поцеловал меня. Глубоко, жадно, почти больно, прикусывая губу. И начал двигаться снова. Быстрее. Сильнее. Не медленно и не глубоко, а так, будто хотел вбить меня в это кресло, в эту машину, в этот остров. Его пальцы сжали мои запястья так, что хрустнули косточки. Свободная рука нашла мою грудь, сжала, грубо, так, как я его учила. Я кричала, не стесняясь, не сдерживаясь, и моё дыхание оседало на стёклах.

Я кончила, выгнувшись под ним дугой, впившись пятками в обивку, и мир на секунду исчез. Белое. Только белое, как метель за окном. А он продолжал, не останавливаясь, пока меня трясло, и кончил следом, глубоко во мне, с хриплым стоном, уткнувшись лицом мне в шею.

Потом мы долго лежали. Он на мне, тяжёлый, мокрый, в свитере. Я под ним, голая, в шерстяных носках. Печка гудела. Аварийка мигала.

* * *

Метель стихла через час. Так же внезапно, как началась. Ветер упал, снег перестал, и когда он протёр рукавом лобовое стекло, я увидела море.

Небо разошлось. Над горизонтом, над белыми торосами, над тёмной полосой открытой воды висело солнце. Низкое, бледное, зимнее. И всё вокруг вдруг вспыхнуло: снег, лёд, сопки, каждая снежинка на капоте. Так ярко, что заболели глаза.

Я сидела в его пальто, накинутом на голые плечи, и смотрела. Он сидел рядом и смотрел на меня.

— Это край земли, — сказал он. — Дальше только Япония. И океан.

Я молчала. Я не могла говорить. У меня в горле стоял ком, и я не понимала, от чего. От солнца. От моря. От того, что я сказала ему час назад и чего не говорила никогда и никому.

Сделай меня своей.

Это был лучший секс в моей жизни. Я знала это так же точно, как знала цифры своих клиник. Лучший. И я знала ещё одну вещь, которую не хотела знать.

В этой машине вела не я.

Он завёл мотор. Положил руку мне на колено. Под пальто, на голую кожу.

— Поехали, — сказал он. — Мама ждёт к ужину.

И я поехала. Даже не спросив, хочу ли я.

Глава 9. Детская комната

Ирина Павловна жила на пятом этаже панельной пятиэтажки, без лифта. Подъезд пах кошками и жареной рыбой, на площадке третьего этажа стояла детская коляска, обмотанная цепью вокруг батареи. Я поднималась за Глебом в своих замшевых сапогах, держа торт из лучшей кондитерской города, которая на поверку оказалась так себе, и считала ступеньки. Восемьдесят. Я посчитала, чтобы не думать.

Он позвонил в дверь, хотя у него были ключи. Дверь открылась сразу, будто она стояла за ней и ждала.

Маленькая. Это первое, что я подумала. Маленькая, круглая, в домашнем платье с передником, с аккуратной седой укладкой, которую явно делали утром специально. Глаза его. Светлые, внимательные. Только у Глеба они были тёплые, а у неё оценивающие, как у кассира, который проверяет купюру на свет.

— Здравствуйте, Ирина Павловна, — сказала я. — Это вам.

Она взяла торт. Посмотрела на коробку, на название кондитерской.

— Спасибо. Не надо было. Я пирог испекла.

И отступила, пропуская нас. Не меня. Нас. Глеба первым, и, проходя мимо неё, он наклонился, и она поцеловала его в щёку, привстав на цыпочки, и поправила ему шарф. Мой шарф. Серый, кашемировый.

— Глебушка, ты опять без шапки, — сказала она. — Минус двадцать шесть.

Глебушка. Я стояла в узкой прихожей в пальто, со снегом на сапогах, и смотрела, как он снимает ботинки, наступая на задники, как мальчишка. Как вешает моё пальто на крючок с какой-то старой курткой. И мне почему-то стало трудно дышать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.